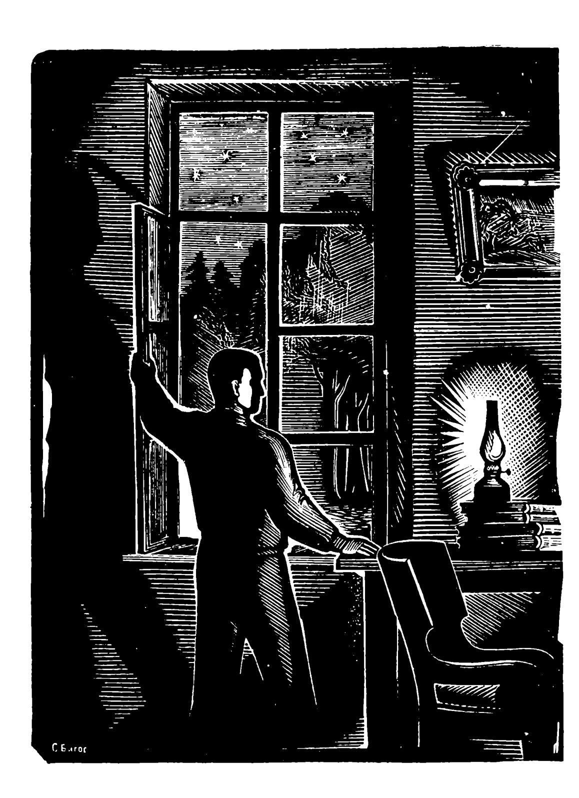
ЛЕОНИД ЛАВРОВ

# ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

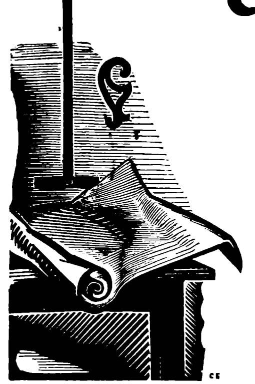
СБ

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1933



ЛЕОНИД ЛАВРОВ

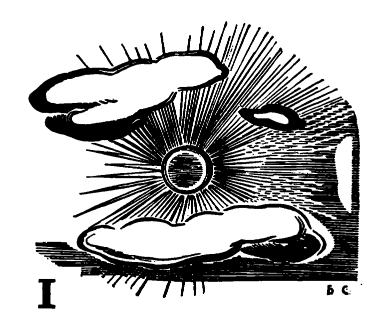
# ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ




Гравюры
Сергея Бигос

СОВЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
1933


ЗАПИСИ
О НЕВОЗМОЖНОМ




# I

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

До свиданья, говорю я, до свиданья несовершенное.
Печаль моя умножена на запах травы
И на цвет неба, освобожденного от облаков.
Ничто не посягает на мое равновесие.
Тишайшая из тишин охватывает меня.
Успокоение мое полноценно и неприступно.

Еще пресмыкающееся, величаемое составом,
Разминает затекшие члены безвольно.
Его позвоночник, свинченный из вагонов,
Еще охвачен ленивым оцепененьем.
Еще притяженье цепляется за колеса.
Еще бег их сновиденчески меланхоличен,
Еще ритм их разменен на бестолочь подголосков.

Еще пространство медлительно как влюбленный
За одну мимолетность перед признаньем.

Город отламывается от нас с неохотой необходимости.
Обманчиво пряничные домики будок
Тасуются в очередь мимо окон.
Притворное равнодушие окрашивает их стекла,
В бесшумные катастрофы играет в них отраженье...
Разноглазые семафоры поджары и педантичны.

Телеграф растягивает струны в пространство,
Пытаясь превратить музыку в бесконечность.
Птицы пробуют играть на нем, как на арфе,
Но не существует звуков там, где звуки
существованье...
И носатые водокачки плачут над паровозами

Беззвучно, как плачут лошади и собаки.
О, кирпичные вдовы всего проходящего,
Прощайте! Плачьте, если так нужно —
Пар женских слез торопит нас в невозможное!

Быстрей, повторяю я, быстрей, существующее!
Теперь пыль безумствует под вагонами.
Ветер журчит над окошком, как речка.
Пространство летит, застывшее в слепок,
И, приближаясь, оттаивает в детали на полсекунды.
Шелковистая девочка держится за окошко:
— Вот! Вот! — хлопочет она — башни, гуси...
И фабричные трубы вытягивают шеи,
И утки засовывают головы в лужи
За тем, чтоб не слышать грохота паровоза.
Вот! Вот!—Беспокоится девочка — мама же, мама!
Но ничего уже нету из промелькнувшего.
Зеленым транспорантом скользят поля.
Вокруг невидимой точки кружится пейзаж.
Вечер выбегает из-за пригорка внезапно
И закат отмечает суриком шероховатости.
Силуэты деревьев тлеют с изнанки.
Мошкара подвешена в воздухе за ничто.
Розовой спермой дрожат ее сгустки,
Воздушным ключом пульсирует толчея,

Восходящие токи ее рассеяны там и тут
И от этого воздух кажется вскипяченным.

Лиловатые сумерки хлюпают по вагону.
Контролер проходит, вымазанный закатом.
— Куда вы едете? — обращается он, кивая.
Пенснэ его дрожит семянодолями
Только что вылезшего наружу подсолнуха.
— Гм, — отвечаю я, — я не посмотрел станции
на билете.
— Вы плохо шутите, — замечает кондуктор
И уходит, облепленный вечером в изваяние.

Электричество прыскает сверху как прачка,
Чтоб лучше разгладить у мрака все складки.
Пассажиров кажется неожиданно меньше,
Лица их незнакомы, как после маски.
Сумерки уже поселили в них молчаливость.

Окна отражают друг друга взаимно.
Отражения их выражены дробью в периоде.

— Мама! — восклицает вдруг девочка: — Мама!
Этот дядя навечно беспомнящий,

Он забыл свою станцию на билете.
О, упрекаю я свое изобретенное безразличье,
Не слишком ли вы спокойны, маэстро?
Зачем все эти опыты с неизвестным?
Зачем? Что случилось, мой торопливый мастер?
Не было ли у вас огорчений в последнее время?
Может, вам надоело коллекционировать недоступности?
Может, вы устали оспаривать невозможное?
Не отчаялись ли вы завоевывать ваши надежды?
Не были ли вы влюблены, товарищ Зиновий!?
И куда вы спешите от вычисленных очевидностей?
— Нет! Тысячу раз нет! — возражаю я беспокойству.
— Не будем ссориться из-за права упреков.
Поставим наше сегодняшнее успокоенье
Между всем, что было и что еще будет.
Поставим, как соль у добрых хозяев
Ставят между стеклами для прозрачности.
А куда? Не все ли равно, не все ли решительно,
Если мы вступили в полосу освеженья.
Если страна, распахнутая, объятьем
Сочна, как стручок в половине июля.
Если каждая горошина в ней полноценна,
Если даже на веру, на ощупь
Ты всегда выберешь самую лучшую.

## II

— Убирайтесь к дьяволу,—говорит председатель:
— Убирайтесь! Тысячу заседаний вам в поясницу.
Это колхоз, а не биржа для проходимцев...
Лицо его мне кажется безграничным.
Световые блики прыгают на нем, не совмещаясь,
За предел очертаний убегает игра их.
Пыль всех перекрестков лежит на его одежде.
Запустение шествует по сапогам его.
Подобострастие грязи размазано по голенищам:
«Земля использует человека для путешествий».
— Что за народ,—говорит он,—что за народ, поймите.
— У меня срывается кампания по осушке...
Он уходит, размахивая рукою, как саблей,
Словно он разрубает узлы невозможностей.
Опустошенный упрямством, я опускаюсь на камень.
Спокойствие полдня шефствует над селеньем.
Косоугольник строений вдавлен в деревья.
Женские локти березовых веток
Поблескивают солнцем между домами.
Ветлы стоят у сараев как люди,
Руки которых подняты кверху.

Глиняные горшки покачиваются на заборах,
Их казненные головы намекают на сказку.
Грустное оцепененье овладевает вдруг мною:
«Ну что ж, — думаю я, — ну что ж, если так лучше.
Люди везде по-разному одинаковы...»
И я сижу долго, как только можно.
Я забываю о времени, что б мы были квиты.
Ветер добирается сюда по былинкам
И приносит мне запах дыма на завтрак.
Его теплота повествует о людях,
А горьковатый привкус напоминает о жизни.
«Ну что ж,—думаю я,—мгла навертывается мне на
ресницы».
Терпкая горечь сжимает мне горло,
Словно плод рассекается бытие мое.
О, глупый плод немыслимых недомыслий!
Вот моя комната крошечная как мышеловка:
Колченогая мебель коченеет по стенам,
Хаос чертежей торжествует на стульях,
Книги, прекрасные книги, вы тоже...
Вас тоже постигла тщета запустенья.
О, теперь все огорченья приходят на память:
— Помнишь,—восклицаю я,—помнишь, Зиновий!
Но что за лицо здесь в этом тумане.
О, как близка мне его драгоценность,

Но как холодно оно в этой оправе.
Нет, я отрекаюсь! Я не хочу возвращенья!
И я тру глаза, как это делают просыпаясь.

Кофейные муравьи движутся по дороге.
Батистовые маки пылают у строек.
Трепещущие лепестки их мерцают, мигая.

Девушка пересекает селение по диагонали.
Клетчатая ткань обегает ее фигуру,
Кажется девушка сложена из кирпичиков.
— Послушайте,—говорит она,—послушайте,
Что могло привести вас в подобное захолустье?
Не хотите ли вы теперь пообедать, товарищ?
Спазма раздраженья сводит мне горло.
— Оставьте!—кричу я,—кто вы такая? Оставьте!
Меня могло привести и вот это.
И я указываю на рубчатый след под ногами,
Шифрованной азбукой напечатан он на дороге.
Марка машины скрыта в нем, телеграммой.
Девушка поднимает брови в раздумьи
И синева слетает ей на ресницы, качаясь.
— Вы правы, мы вчера получили косилку,—
Произносит она, и по тонации фразы
Я угадываю, что губы у нее серьезны по-детски.

Я поговорю с председателем о вашей работе,—
Добавляет она, и девический голос
Кажется мне неожиданным и знакомым тысячелетия.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Председатель возвращается с поля, сутулясь.
Вечер взвален ему на плечи поклажей.
— Гмм, — начинает он, — гмм, вы кажется назвались
Зиновьем?
— Зиновий... Зина... Женщина, впрочем...
Речь его течет равнодушно как ветер.
Сумерки мешают мне его слушать.
— Впрочем, — продолжает он, — впрочем, неважно,
Вы будете рыть канавы — ступайте!
Скажите Веронике Семеновне Ратовой,
Десять без девять, — председатель согласен.
Кто это?—говорю я. Он улыбается. — Это...
Это наша забота, вы знаете,
Вы уже с ней говорили сегодня.

## III

Зеленые страницы дней улетают в историю.
Лето растворено повсюду неслышно.

О, как она тепла, как она обаятельна,
Эта бесшумная фабрика хлорофила.

Люди врастают здесь в будущее, как дети,
По-детски они пристрастны к движенью,
Ревность их к миру наивна и беспредельна.
Словно в комнате выздоравливающего спокойно в природе
И все во мне тихо как в закроме, где нет больше зерен.
Червь моего сознания дремлет,
Ему не по зубам яблоко безмятежности.
Вечера мои мглисты и захолустны,
Беззвучны словно улыбки немого,
Ночи мои мохнаты, как звери,
И сны мои куцы и простодушны.
Будущее не тревожит мое подозренье,
И даже для той, что здесь живительней, чем источник,
Для той, что здесь существенна, как вдохновенье,
Я сам существую безликой обыденностью.

Но как все тихо, как все свежо и улыбчиво.
Вот ветер бежит по диаграммам посевов,
Он перебирает тонюсенькие ножонки травинок,
И теперь лето кажется тысяченогим.
Как здесь легко, как хорошо здесь, Зиновий!

Но пока будем всетаки помнить:
Лучшее беспощадный соперник хорошего.

## IV

Дождь напевает в деревьях вступленье.
Стекла заштрихованы в сетку, как будто
На них погода хочет скопировать лето.
Все морщины ненастья собраны в лужи,
И водяная судорога сводит им лица.

Куры оставляют один глаз свой закрытым.
Так они наверно видят и солнце.

Собрание наше бурлит как природа:
— Я скажу, — волнуется Савелий Савельевич: —
Я скажу, на кого же ломаем, товарищи!
Он машет рукой словно он за прилавком,
Разрезая воздух ломтями как булку.
— Десять без девять, — мычит председатель.
— Десять без девять — это же невозможно.
— Я голосую, — настаивает Вероника, — считайте!
Кто за то, чтоб колхоз был ударным?
Руки уходят кверху за славой
— Десять без девять, — ворчит председатель. —

И руки опускаются книзу за честью.
Товарищи, вы меня зарезали, как теленка.

— Почему вы не голосовали? — говорит Вероника.
— Я? Мне не нужно, — шучу я, — мне безразлично.

Огорченье пересекает ей радость раздумием,
Но никто не должен знать настоящее.
О, я ничем не хочу вас огорчать, Вероника.
— Но ты выступил здесь в роли безличья,
И я не могу тебя выдать, Зиновий.
Теперь уж поздно, мой мастер.
Но колхоз! Колхоз, он будет ударным.
Я ухожу, ухожу, ибо я знаю...
Торжество дождя распевает в деревьях;
Крыши домов звучат, как мембраны;
Водосточные трубы икают от славы
И слюни восторга бегут изо ртов их.

## V

Ночь забирается веткам подмышки.
Муравьиная тьма ее наполнена шевеленьем.
Кисейный шелест катится зеленями.
Замшевое шуршание одевает поляны.

Коростель скрипит в клевере, не умолкая.
До хрипоты надрывает он перепонку,
Словно его трепещущим легким
Поручено выкрикнуть имя для существующего.

Мшистая мгла охватывает деревья.
Словно самые тончайшие инструменты
Завернуты они в бархат ее футляра.

Окошко наше кажется нам бездонным,
Карта, раскрывающая нам пятилетку, искрится.
Павлиньим хвостом глазеет ее поверхность,
Радужная кайма окантовывает районы.
Их части сближаются, совмещаясь без промежутков.
— Вот, — говорит Вероника, — смотрите на это...
По Уральскому хребту бежит ее палец,
Загар обтягивает его, как перчатка,
Родинки городов выскакивают на бумагу,
Словно он оставляет крапинки за собою.
— Вот! — восклицает она: — Вот, товарищ Зиновий!
Неужели, неужели вам все это безразлично?
Маленькую спутницу я вспоминаю невольно.
Сейчас она скажет — мама,
Этот дядя нарочно беспомнящий.
Но она удивляется — как это странно,

Хотя бы пространство между разделами!
— О, Вероника, — говорю я, — везде диалектика —
Нам всегда все хочется связывать и отделять.
— Что вы сказали, — восклицает она, — повторите!
— Что я сказал? Я ничего не говорил, Вероника,
Это ветер расхаживает под окошком,
Я буду учиться, товарищ заведующий...

Ветер вспыхивает от прикосновенья к деревьям,
Коленкоровый шелест проносится по осинам,
Свет подпрыгивает в лампе паяцом,
Девушка наклоняется над картой вплотную,
Кажется ветер ее сгибает так низко.
Теперь подозренье ее полускрыто.
«Ты кажется все-таки проговорился, Зиновий»
— Спокойной ночи, — произношу я, — до завтра.
— До завтра, — кивает она мне, — прощайте.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ночь наполнена шелестеньем как муравейник.
Тсс, тсс — перепархивает с ветки на ветку.
Тсс, тсс — лепечут чуть слышно травы.
Их листья растут вдумчиво и осторожно.
Роса оседает им на ладони бесшумно,
И земля покрывается потом от счастья.
— Спать, — говорю я, — Зиновий — до завтра.

Мир существует огромной возможностью,
И завоевание невозможного беспредельно.

## VI

Звук расплескивает сон мой, как лужу.
Как за нитку тянется за звуком реальность.
— Спичечная коробка,—думаю я, просыпаясь,
— Упала спичечная коробка, я слышал...
Вымершая пещера сарая пустынна.
Лунные пилы просунуты в щели
И сумрак распилен ими на брусья.

— Полночь, — говорю я, — полночь, приятель!
Тень отскакивает от сарая пружиной,
Маятник бороды ее пляшет.
Очень странно, думаю я, странно...
Впрочем, что нам за дело, Зиновий,
Мы заберем эти спички на случай.

## VII

Теперь мы опять отдыхаем на бревнах.
Золотыми обрезами лучатся их спилы.

Шагреневые жуки вползают им на поверхность.
Коленчатыми ногами пробуют они воздух.
Намагниченными усами познают протяженность.
Само бытие дрожит у них в брюшковине,
И солнечный рассол впитывают их крылья.

Мы сидим тихо, словно нас нету.
Махорочный дым наш покачивает два стебля,
Чтоб доказать птицам, что мы существуем.
Бумажные облака протекают над нами,
И мы пытаемся проследить их полет, не мигнувши.
Потом я говорю медленно, как засыпая:
— Вы очень любите вашу мать, Herr Генрих?
— Ja, — отвечает он, — Ja, ich liebe Mutter.
Meine Mutter arbeitet «Астория».
— Но вы слишком любите растения, Генрих,
И мы теперь самые худшие из коллектива,
Мы роем рвы, чтобы ходить ниже поверхности.

Оцепененье жуков кажется бесконечным.
Зной потрескивает в травяных сухожильях.
Огнистые горицветы обугливаются от солнца,
Их смолистые стебли тают как восковые.
— Не есть, — возражает мне Генрих, — nein, Genosse.
И он показывает на свои ноги для оправданья.

Сапоги его скрючены, как два прокаженных,
Это не сапоги, это «Я» и не «я» Авенариуса.
— О, — говорю я, — зачем вы бежали в Россию?
Вы — садовник, а у нас мало времени для украшений,
Вы можете возвратиться на родину за сапогами...

— Родина, — произносит он и поднимает лопату.
Солнечные занозы перемешаются в бревнах.
Жуки переползают с места на место,
Их коленчатые лапы вывернуты наизнанку.
— Die Heimat, — повторяет он, поднимаясь.

Теперь костюм его синеет, как море.
Материки заплаток тонут на брюках,
Все части света сдвигаются на тужурке,
Географическую карту напоминает одежда.
«Не есть, — говорит он, — почему же смеяться,
Я могу сделать работа и в одиночка».

— Простите, — прошу я, — я верю вам, Генрих,
Одежда ваша действительно интернациональна.
Затем мы копаем, копаем как раньше.
Солнце сыплется, потрескивая на рубашках.
Чесучевый песок журчит на лопатах.

Остекленелые одуванчики заглядывают в канаву,
Их поседелые головы напоминают мне Mutter.

Ах, эта Mutter, наверное вечер
Сейчас одевает в средневековье ваш Лансгут.
Часы на колокольне Мартина бьют восемь.
Куклы на часах Траусница бездумны.
Изар рыжеет как вывернутый наизнанку.
Баварцы вкладывают в походку всю тяжесть.
Земля им больше не кажется прочной,
Версальский рецепт испортил им пищеварение,
Но они больше не верят в диэты
И несут свои Stulle как сувениры.
Запах вербены плывет в переулках.
И вы, и вы перемываете чашки в астории.
Вы не хотите думать о сыне, чтобы не плакать,
Но ваши слезы падают на посуду,
Пятна их просыхают на фарфоре бесследно.
Что ж делать, моя драгоценная Mutter,
Что ж делать, если все здесь бесценно,
Если банки обманчивей, чем ракеты,
Если курс марки балансирует, как лунатик.
Если паралич безработицы перманентен?
Что же делать, если радости недоступны?
Плачьте! Плачьте, моя незнакомая.

Пар ваших слез несет нам непримиримость! -
Мы вырастим наши растенья грядущего.
Сын ваш будет садовником «невозможного».

## VIII

Вечер въезжает в селение на косилке.
Тина заката намотана ей на колеса,
Рыжеватые блики гуляют на раме
И весь ландшафт тянется за ней паутиной,

Лошади переставляют ноги, как кегли,
Кажется, они боятся их перепутать.
Савелий Савельевич непроницаем и важен,
Словно трон он покидает сиденье:
— Объявляю, — говорит он, — косилка сломалась...

Лошади передвигают уши, как стрелки.
Досада выключает речь из нашего круга
И молчанье образует на лицах конвейер.
Закат перемешает пятна в деревьях,
Оранжевые обезьяны их лезут по сучьям.

— Починить невозможно, — добавляет Савелий.
— Десять без девять, — ругается председатель.

Значит наши надежды на смарку.
Колхоз, думаем мы, не будет ударным,
И мы смотрим на Веронику, надеясь на чудо.
Лицо у ней размыто тенями на части.
Теперь я замечаю на нем вдруг усталость.
Утомленье струится на щеки штрихами.
— Но, — восклицает она, — как же так, Савелий Савельевич!
— Ударная работа, — щурится он, — работа-с...

Он размахивает руками как в лавке,
Разрезая воздух ломтями на части.
Этот жест лавочника отвратителен.
— Смотрите, — хочется мне крикнуть, — смотрите!
У этих рук выраженье презрения.
Они рассказывают больше, чем следует.

Руки, это — лицо человечества.

Так я стою, рассуждая, мгновенье.
Но вдруг гнев рассекает лицо мне с налета.
Руки мои немеют от тяжести.
Враг отделен от меня промежутком удара,
И я говорю тихо, чтоб не было слышно:
— Получите ваши спички, Савельич,
Это вы нарочно сломали косилку.

Припомните, не было ли у вас, Савелий Савельич.
Да! Не было ли у вас где-нибудь хлебной торговли!
Убирайтесь! — кричу я затем: — уби-рай-тесь!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Человек удаляется медленно, как по перилам.
Тень шагает за ним, раздираясь о кочки.
Маятник бороды ее пляшет.
Вероника смотрит на меня с недоверием:
— Что вы ему сказали, Зиновий?
— Класс классу — волк, Вероника!
Косилку починю я, если позволите.
Согласье продолжает на лицах конвейер.
Закат обрезает деревьям верхушки,
И мы можем видеть, что средина их золотая.

## IX

Личиночны шурупы, плоскотелые шайбы,
Хрящеватая голубизна шариковых подшипников,
Негритянские губы зубчатых передач,
Трогательные на ощупь бородавки заклепок.
Все мне знакомо в этом союзе предметов,
Я вновь познаю их весомость и сущность,
Я замкнут в эту окружность контакта

И я навертываю гайку справа налево.
Масленка не пытается скрыть любопытства,
Нос ее вытянут в воздух, как хобот.
Но гайка, она упряма, как время.
— Чорт, — говорю я, — что вы хотите, гражданка!
И я дую в нее как дети в свистульку,
Потом я заглядываю ей в дырку, как в лупу.
Пейзаж скользит по нарезке спиралью.
Мир дыряв, думаю я, дыряв, как свистулька.
Но все его дыры влекут мое любопытство.
О, как сочны эти скважины существующего!
— Теперь, — обращаюсь я к гайке, — понятно:
Вы пара к моему недалекому прошлому —
Ваша нарезка в обратную сторону.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Председатель приходит взглянуть на работу.
— Десять без девять, — мычит он. — Что слышно?
— Даете лошадей, товарищ начальство!
— Вот как, — оживает он, — вот как, ячейка...
Ячейка, назначает вас бригадиром уборки.
Это все Вероника, — говорит он, смущаясь

Утро открывает прохладе все краны,
Руки мои держат вожжи, как счастье.
— Зиновий, — говорю я, — Зиновий, ты школьник,

Чему ты смеешься, товарищ Зиновий?
Мир течет мне навстречу, плескаясь:
Ключистая свежесть булькает в рощах,
Игольчатая роса прошивает растенья.
Как после пробега дымится их зелень.
Колокольчики качают синие шлемы,
Солнечными каскадами брызгают зверобои.

Конские щавели раздувают метелки,
Кажется животные спрятались в землю
И дразнят оттуда природу хвостами.

«Трак» — перевожу я регулятор, и птицы
Разматывают линию полета тесемкой.
«Трак» — перевожу я второй регулятор,
И нож уходит в траву, как в воду.
Треск брызгает искрами в зелень,
Шатун колотится радостно и бестолково,
Клевер стряхивает шерстяные головки,
Навзничь опрокидывается золото зверобоев,
Истерически вздрагивая, подпрыгивают ромашки,
Лепестки их цепляются друг за друга,
Капли росы скользят по ним, как слезинки.

Мир струится навстречу, плескаясь.

О, как они цепки, объятья работы!
— Да здравствует утро! — кричу я пространству.
— Да здравствует время, — отвечает мне ветер.
Он бежит, захлебываясь от восторга, за мною,
Он топчет растенья и фырчет как лошадь.
Нож стрекочет в былинках о славе.
О лете грохочут оркестры кузнечиков.
И колокольчики, засыпая, лепечут о солнце.

## X

«Пафф», — делают липы. — «Пафф», — повторяет ветер.
Меланхоличность течет в полости облаков,
Их тела движутся, сжимаясь и разжимаясь.
Солнце проваливается в их бездумные интервалы
И световая буря катится по листве.
— Вероника! — кричу я: — Вероника, ты обязательна!
Пауки качаются в паутинах, как в люльках.
Сережками свисают на нитках тела их,
Мир растит по ответам их стройность.
Праздник напоминает сегодня природа,
И этот выходной день наш похож на рожденье.
В золотые жилеты разряжены осы,

Жуки в аквамариновых фраках бесценны.
Роща поймана в тени, как в невод.
Плюшевые мхи выстилают в ней землю
И шишки, акробатически делая сальто,
Бесшумно падают с елок, не ушибаясь.

Березовые пни торчат кое-где попарно,
Как трусики, перевернутые кверху ногами.

Грудой бирюлек представляется муравейник.
Коричневые зерна их рассыпаются на дорогу
И кажется ветры играют в бирюльки.
«Пафф»,—делают липы.—«Пафф»,—повторяет роща.
«Хах-ха-ха», — хохочут заливчато листья,
Ветер щекочет им крошечные ладони
И смеховая буря катится по листве.
— Вероника! — кричу я, — Вероника, ты обязательна!
— Тише,— говорит она, — тише!
Ты теперь совсем сумасшедший, Зиновий.
Красное платье ее разбито на клетки,
Она мне кажется сложенной из кирпичиков.
— Нет! — кричу я, — нет, Вероника,
Это ты научила меня быть громким.
Завтра, что мне за дело до завтра,
Слышишь, я люблю тебя, Вероника,

Я еще разберу тебя по кирпичику!
«Пафф», — делают липы. — «Пафф», — передается в пространство.
«Хах-ха-ха», — хохочут заливчато листья.
Меланхоличность течет в полости облаков.
Солнце проваливается в их бездумные интервалы,
И две бесконечных бури борятся на земле.

## XI

Два письма приносит мне почта.
Я не получал писем два года,
Два длинных года — ни строчки.
О, никто не писал мне в ту пору.
А сейчас, сейчас... О, этот почерк!
Буквы прыгают на листах, оживая,
«Р» загибает свой хобот, как насекомое.
Клоуном вывертывает «л» свои ноги.
«Все забыто, — пишет Елена, — забыто...
Я думаю, вы отрешились от ваших безумий.
— О, я не хочу возвращать вам ваши надежды,
Но я б очень хотела вас видеть, Зиновий»,
— Вздор, — говорю я, — безумье, нелепость...

Второе письмо кажется мне невозможным:
— Изобретение, — читаю я, — изобретение принято,
Приезжайте, как можно скорее работать.
Ах, это изобретение, три года, три года.
Мне повторяли, чтоб я забыл эту глупость.
Действительно, все в этом мире возможно.
Как глупо ты просчитался, маэстро:
Неприступности — они существуют для слабых.
Но если все возможно в большом, то и в малом.
Значит, и Елена и Елена приятель...
Но что сделаешь ты теперь, с настоящим?

Мир кажется мне плывущим в пространство.
Вещи уходят от меня по теченью.
Ни мысли нет у меня в голове, ни мысли!
Пустота шествует сквозь меня как войско
Торжественная пустота — пустота разрушения
— Неужели это развязка, Зиновий?

## XII

О, как шершавы щеки у этой подушки,
Какое волосатое тело у одеяла.
Простыня эта соткана из колючек.

Нужно подняться, подняться, Зиновий,
Но я подобен неподвижностью глыбе.
Как полюс кажется мне недосягаемой лампа.
Замороженный свет ее безучастен и скуден.
Обоюдоострые щели лучатся на стенах.
Потолок представляется мне вдруг стоглазым,
Коричневыми сучками смотрит он сверху,
Деревянные глаза его юродивы.
Я щурюсь, пытаясь считать их попарно,
Но потолок убегает, кривляясь, налево.
В рыжую кляксу размазывается пространство.
Лихорадка, догадываюсь я, лихорадка, Зиновий.

Костяные мурашки попрыгивают по коже,
Дремота прижимается ко мне, как зверюга,
Живот ее кажется мягким и теплым.
— Спать, — лепечет она, — спать, баю...
И вдруг утро катится по пространству.
Чистота неба кажется кристаллической,
Птицы текут к его горизонту,
Неуловимую мелодию несет их стремленье.
Ребяческую рубашонку мне обдувает прохлада.
Я смотрю в небо и беспечность бездумья
Баюкает детство моего созерцанья.
Но миг, и что-то во мне распрямляется, как пружина:

— Стойте! Стойте! — кричу я вдруг птицам,
Я бегу по долине, пытаясь догнать их:
Камни покрякивают у меня под ногами,
Когтями цепляется за рубашку репейник.
— Стойте же, стойте! — кричу я им кверху.
— Бабушка, бабушка, вели им остановиться!
— Невозможно, — говорит бабушка, — невозможно...
И птицы исчезают у горизонта, растаяв.
Я поднимаю кулак и грожу им вселенной.
Слезы брызгают на мои щеки потоком,
Они несут мое детство как щепку.
Я ощущаю солоноватый привкус и просыпаюсь:

Пот покрывает лицо мне, как оспа.
Все это детство, думаю я, поднимаясь,
Как к отдаленному маяку пробираюсь я к лампе.
Лист бумаги кажется мне безграничным,
Сейсмографом дрожит моя ручка.
На развалины походит мой почерк:
— Елена, — пишу я, — если б вы знали,
Если б вы только знали, что вы наделали!
Если б вы могли видеть мою беззащитность.
Ваш образ, он давно пронизал бытие мое,
Он за мной следует всюду, как преступление.
О, простите, простите природу мою,

За несовершеннолетье утраты, за молодость
отреченья,
За бесповоротность жизни моей, за скорость ее!
Нет! Ничего не хочу я от твоей невозможности,
Но ничто невозможно мне без тебя здесь.
О, горчайшее огорченье моих огорчений,
Слушай, отрада моей отрады,
Какое высокое время разрешено нам,
Какое влеченье дано нашим жизням,
Какая стремительность сообщена им!
Как же ты веришь в мое отреченье,
Если упорство стало достоинством,
Если мне темперамент стал методом,
Если все здесь отмечено разрешенностью.
Елена! Елена! Здесь просвечены вещи,
Вглядись, смысл их распахнут, как откровение.
И ты моя фея, пронизанная рентгеном,
Как же ты хочешь, чтоб зарекался я.
Всегда, везде, отныне и присно
Я утверждаю, что нет ничего невозможного.
Елена, простите природу мою,
За бесповоротность жизни моей, за скорость ее.
О, ничего мне не нужно от лишних щедрот,
Но умоляю, прошу — не спорь!
Ты мне постоянна словно земле полет.

Ты мне обязательна, как детству корь.
Ты мне необходима словно время вселенной,
Нарочита, как звездам огни те!
Ленуся! Леночка! Лена!!!
Впрочем, Елена Николаевна — извините!!»

— Бред, — говорю я, — бред, сумасшествие.
И я выхожу на воздух, чтоб только не думать.

Рассвет похрустывает прохладой в деревьях,
Зеленые уши лопухов запотелы.
Усами торчат посеребренные былинки.
— Утренники, — думаю я безразлично: — как рано.
Затем я возвращаюсь и рву свою запись.

... Сон сбивает меня с ног как кулак.

## XIII

Дни бегут быстрей, завершая кривую.
Хамелеон, называемый природой, тускнеет,
Чтоб стать неделей позже янтарным.
Окошко, у которого лежу я бездумно:

Березовая прядь стучит в переплеты
И локон неба синеет у фортки.
Генрих заходит ко мне навестить на минутку,
И мы болтаем о мелочах, даря им значимость.
— Помнишь, — говорю я ему, — как мы поругались?
— Ja, ja, — кивает он, — помнишь, Genosse...
Он уже получил премию сапогами.
Он ведь теперь лучший ударник в колхозе.
— Вероника не едет, — говорит он позднее.
— Да, Вероника не едет, — соглашаюсь я равнодушно.
Так мы болтаем, не подозревая друг друга.

Выздоровленье мое полноценно и тихо
Ни о чем я не хочу думать до времени.

## XIV

Осень, осень, товарищ Зиновий.
Знакомая, призрачная клинопись журавлей;
Пригорьковатая пряность воздушных течений;
Сургучные печати рябиновых гроздей;
Сиреневые пуговицы доцветающих снабиоз;
Зеленые и розовые раковины сыроежек;
Крашеные в крапинку домики мухоморов;

Левитановские березки, тронутые золотухой;
Кленовые листья, разрезанные на фестоны;
Огороды, превращенные в музеи диковин;
Голубоватый фаянс капустных вилков;
Розовоногая морковь, меднолобые тыквы;
Картофельные железы, вылущенные из грядок;
Оголенность вещей, призрачность горизонтов;
Успокоительный, однотонный мотив молотилки;
Волнистое солнце опустошенной соломы;
Зерно, свезенное в рыжие груды,
В котором тепло, растерянные букашки,
В которое руку запускаешь, как скряга,
В котором мечта кажется полновесной.

Я стою на пригорке и повторяю беззвучно:
— Да, да, Вероника, я виноват перед вами,
О, я не то, не то, чем я здесь выглядел,
Но я клянусь, я обманул вас нечаянно.
— Нет, — говорит Вероника, — я догадалась сначала.
Я поняла вас, я поняла вас, я вас жалела, Зиновий.
— Ничего не должно быть между нами,
Я нужна здесь больше, чем где бы то ни было...

Ах, какая осень бежит по пригоркам.
Куда только ползут здесь улитки?

Почему глаза их похожи на рожки?
Зачем эти жолуди так полнотелы?
К чему это порхающая разноцветность,
Этот огонь замирающего хамелеона?
— Вероника, я буду просить вас быть доброй.
Вы мне теперь необходимей, чем воздух.
— Нет, — говорит она, — нет, воюйте за
«невозможное».
Довольно, довольно — я не люблю вас, Зиновий».

Она удаляется, и я только вижу,
Что плечи ее согнулись по-детски.
Так их сгибают смех и слезы.

— Осень, осень, товарищ Зиновий.

## XV

Вещи мои уже собраны вместе.
Я стою здесь, стою и креплюсь что есть силы.
— Приезжайте, приезжайте, — говорит председатель.
— У нас здесь хватит работы на каждого.
Ба, — спохватывается он, — вы ведь совсем раздеты,
Зиновий.

Возьмите мою куртку, возьмите,
У меня есть между прочим другая.

Генрих сует мне какую-то траву.
— Что это, Генрих, зачем же мне сено?
— Так нужно, — говорит он, — так нужно...
Я стискиваю зубы как только можно,
Я боюсь, что я могу здесь заплакать.
— Ладно, — говорю я, — ладно, товарищи,
Ладно, мы еще обязательно встретимся,
Желаю вам самого-самого лучшего!

## XVI

Телеграфные столбы убегают за сумерки.
За новостями стоит их бессменная очередь.
Что же мне сказать вам, молчаливые сплетники?
Я хожу, хожу здесь и не знаю, мне верить ли.
— Социализм, социализм, — бормочу я задумчиво.
Шелковистую травку я согреваю ладонями.
По латыни она—Veronica ogrestis.
Уже мороз научил все предметы звучанию:
Ледышки под ногой мелодичны, как клавиши,

Бубном громыхает земля под подошвами.
Семафоры мигают надо мною насмешливо.
А я все хожу, хожу и не знаю, что думать мне.
Социализм, социализм, дорогие мои!
О, невозможная родина всего невозможного.
Да, невозможное сколько заметок и случаев.
Я видел однажды трехлетнего мальчика,
Он держался за водосточные трубы, как за ноги,
Словно на крыше сидели чудовища.
— Слезайте! Слезайте, — кричал он настойчиво.
Папа, пусть эти дяди спускаются.
— Ты хочешь, — говорил отец, — невозможного.
О, невозможное с детства, с юности, с искони,
Ты всюду нам камнем, нелепостью преткновенья.
Кто ж тебя выдумал, вынянчил, выносил?
Все здесь возможно! И ты только форма и вымысел.
Противоречье или закон диалектики!
Все здесь, все здесь начало для лучшего.
Время, все просквозил рентгеновский луч его.
Жизни? И жизни заточены копьями.
Вещи? И вещи распахнуты, как откровенье.
Вероника, простите ж мне грубость мою,
Если я обманул вас, я обманул все нечаянно.
Я здесь наносен, случаен, я временен.
Вы ж постоянны, вы здесь бесспорны как тысячи.

И все вы застывающие над каждой пылинкою,
Болеющие за каждую пядь построения,
Земля вам дана для славы, для юности.
Да вдунут ей ветры и время оплодотворение,
Да пройдут над ней тучи, беременные погодою,
Да раскроется мир вам каждой излучиной,
Да утолит вашу жажду сочность его,
Да журчит ваша жизнь бессменным источником,
Да будет она ясной и солнечной.
И что бы то ни было, что бы то ни было,
Я обещаю! Я клянусь вам не омрачать ее.
Я вам обязан силой и приобщением.
Пусть вам залогом здоровье желаний моих
И пусть вам ручательством мое бескорыстие.

И вы, моя фея, пронизанная рентгеном,
Простите ж, простите природу мою,
За горение жизни моей, за скорость ее.
Всеобщая воля — она нагнетает меня,
Она возносит все бытие мое.
Я теперь — это все вы, идущие к лучшему,
И все вы — это моя растворенная молодость.
И я хожу здесь, хожу как заведующий.

Я заведую миром, моя драгоценная!
Я ведаю славой, моя бесконечная!

О, класс мой, они мне призывом, путевкою
Все твои боли и все твои радости,
Все будет здесь сделано, все, что задумано.
Всегда, повсюду, сегодня и в будущем
Мы берем, мы штурмуем тебя, невозможное.
Клокочи ж, моя освеженная родина
Шуми ж, этот сад необычного!

●

Земля перемазана вечером в сурике
И озеро, которое горит в отдалении,
Кажется мне на ней орденом красного знамени.

●

Вероника, ты обязательна...

Зиновий. Лето 1931 г.




У ИСТОКОВ
ГЕРОИКИ
СБ



# К ИСТОРИИ ОДНОГО ПРОЭКТА

Остановленная печаль —
есть радость.
Гельвеций

Осиновой зелени сквозной желантин;
Березовых соцветий лиловатые серьги;
Леса, погруженные в небесную перекись,
В броженье и окись суглинков и глин.

Листопада по лужам прошлогодний экстракт;
Муравьиные конусы, кипящие пивом,
По припекам крапивы, крапивы, эдак и так,
С обжогом и без, и напоследок — просто крапивы.

Розовые клювы липовых почек,
Которые вот-вот и лопнут.
И ночи такие, что сновидений короче,
А сновиденья — как ливень, как музыка в окна.

И ливни, ливни, неодолимые ливни —
Этих воздушных раскатов ситро...
А небо день ото дня все свежей и наивней
И все горячей поколенье дождей и ветров.

О, клубок мирозданья, он снова размотан.
Ты набухаешь, страстей непокойная завязь...
И в каждой клеточке — мленье, ломота,
И в каждом суставе — леность и зависть.

●

...Он засыпал, ему что-то снилось, и он
(Здесь дроби миросозданья вязались в одном),
Да, он спал, его чуть передрагивал сон
И сам он сразу был временем, местом и сном.

Невероятный хаос тасовался, полз
Смешением событий, чувств и времен.
И он был лишь объект бесполезнейших польз,
Реальность, отданная виденьям в ремонт.

Это тело, опровергнутое здесь на постель,
Вела горизонтальная линия снов,
В мир, превращенный полусознанием в пастель.
В бытие, взбаламученное сном до основ.

Здесь было все. «Почему не могло быть иначе?»
Разве есть такое наказание? — «Никогда».
Отдавший вселенную, он требовал сдачи,
Непринимающий «нет» — он веровал в «да».

О, счета сожалений, их не сочтешь до утра ты,
Как миллион, разложенный по мелочи в стопки.
Тут в сновиденьях хозяйничал примат утраты,
И климат желаний, обернутый в тропики.

Он все ее видел, она была рядом.
Оно существовало, далекое «около»
Как лепет убегающей зелени сада,
Как сердце, которое только что екало.

Вот ее платье обнимкою шелковой,
Двойной теплотой опутывало тело:
Шипело, шуршало, лилось, шелестело
И даже, казалось, пощелкивало.

И он умолял: «Ты, как и я, тоже тленная,
Ты — промежуток материи, самка, женщина,
Но ты для меня, понимаешь, вселенная,
Которая только каплю уменьшена.

Подумай, из сложения наших количеств
Мирозданьем завладею, может быть, я,
Но если тебя из вселенной вычесть,
Останется лишь пустота моего бытия.

Но он спал, были ничем сновидений качели,
И крик был расплавлен забвеньем в шопот.
И, казалось, еще раз шутник Торичелли
С пустотою проделывал опыт.

На улице же молниями, тучевой материал,
Гром разрывал с проклятием губ
И дождь неизвестно зачем примерял
Железные манжеты водосточных труб.

Там прыгали потемки, шла чехарда...
Деревья стонали, им казалось не в мочь,
Но всю ночь отдавалась канавам вода
И ветер насиловал зелень всю ночь.

●

На утро окошки слюнявил рассвет,
Зевала в полусон заведенная келия,
Ползли тараканы, сходили на-нет.
И лампы чадили, словно с похмелья.

И все было просто: этот покой,
Этой природы размотанный кокон,
Который тут вот, рядом, у окон —
Потянись, и ты его достанешь рукой.

Изрытые подушки, где сон отмелькал,
Часы, под которыми грушами гири.
На завтрак — картошка — сейчас с уголька
И для приличья, конечно, в мундире.

И то, что он здесь, и то, что ему
Всех этих воспоминаний крутые зобы,
Уже незачем, уже ни к чему,
Если показано свыше — забыть!

Прощай же, молчи, стынь, цепеней,
Так неразумно взлелеянный отпрыск!
Сгущайся в изменчивый холод теней,
Образ, уволенный в безвременный отпуск!

Он умывался: лениво содрав полотенце,
Растирал по лицу миры сновидений...
Но скрывалась энергия в этой потенции,
Как лето в пчелином гудении.

И он мчался на воздух, распетый до боли,
От птичьих заиканий ставший картавым,
Разложенный свистом на терции и бемоли
И вовсе расчелканный в кустах по суставам.

Солнце вставало по-монгольски косым.
Неверно плыли различные запахи.
Всевозможные травы в лихорадке росы
Горели, как в перламутровых запонках.

Стрижи ж, ночную стряхнув усталость,
Вздымались в небо, сверкнувши еле,
И вдруг, как будто сердце у них разрывалось,
Там, в синеве, каменели.

А синева разливалась, ширилась, бухла —
И, чуя повсюду бурлящую синь,
От холода мшелый, осклизнувший, пухлый,
В реке проснулся огромнейший линь.

Он о дымчатый камень потерся боком,
Кувыркнулся и под водою скрыл изгиб,
Так что, веером выкроив осоку,
Подтяжками в небо прыгнули брызги.

И мир, разлетевшись по каплям в пух,
Был по кусочкам солнцем облеплен
И так переливался, что даже у мух
Глаза от боли слепли.

Но к чему здесь окраски разных родов
О «Воспитании чувства», о Гамсуне, о Флобере,
О Тургеневе и Виардо,
Он думал, опускаясь на берег!

Увы, все не наше в не нашем раздоре,
Нас воспитывал воздух новых парений.
Сражайтесь! Не тупит нам шпаги история
Чуждых нам примирений!

Мир должен быть завоеван—Quand même.
Желать — значит брать. Я — с теми,
Кто исповедует «да», и если будет здесь темень,
Я стану совой, чтобы видеть во тьме.

Но три года горячки, маеты, писем,
Атак, поражений, самолюбивых простуд,
Бессмысленных «но», от которых мы все же зависим
И без которых нам крышка, удушье, капут.

Он вспомнил: сумерки, иней, декабрь,
Окна, и на стеклах морозный автограф,
Он мог дожидаться столетия и замерзнуть, не дрогнув.
За которым лица немеющий абрис,

Да, не дрогнув, но об этом его не спросили,
Все в нем сломалось в каком-то капризе...
Природа не прощает насилий,
И теперь в ней упорствовал кризис.

И то, что было, и то, чего не было,
Выходя из минутной летаргической лени,
Он обратно снова затребовал,
Погружаясь в шквал сожалений.

Но все было просто и миру к лицу.
Рылись пчелы в рыжих мать-мачехах,
Ноги обувая в цветную пыльцу,
Словно ходили в башмачках.

И берег по-весеннему раскис, размяк,
И оживали на этой погоде, они
Полыми телами торча-торчмя,
Травы еще прошлогодние.

Ветер сабачником сухим хруптел,
Летели пушинки осота на —
Подобие душ, ушедших из тел,
Если душа из пуха соткана.

И столько здесь было видений ему
Таких, что мелькнут и — уже не вернете,
Эдаких, что не поддаются уму —
Но он все ж их отметил в блокноте:

●

«Душа, какая большая провинция:
Буераки, овраги, чаща,
А в сущности ничтожнейший принцип
Моего существа ощущать.

О, по Платону обитающая где-то в пятке,
И вовсе несуществующая, по Марксу —
Благотворительная наклейка вместо марки
На все псих-и логические беспорядки.

Вы говорите: не помнить, не помнить, забыть!
Вы перегоняете память, вы спорите,
Но как вы еще неловки, как вы слабы
В этом букашечьем спорте.

И к тому же с каких это пор
Вы стали паясничать, чудачить, хандрить,
Путешествовать по вымыслу, как Майн Рид,
Санкционируя каждый нелепейший вздор.

Замирающая за каждую цветущую лозу,
Дрожа за всякий набухнувший образ,
Вы кидаете единственный лозунг:
Во что бы то ни стало быть доброй.

Довольно! Я вам лучше устрою завтрак
Из всех несуществующих завтра.

Вы — социал-демократка, моя душа.
Слушайте же, добродетельная до озноба,

Во имя всего, что будет еще дышать,
Здесь утверждается злоба».

●

Он оглянулся, бежали облака кое-где,
Жар полдня, перегорая, уже опадал.
Бодались лучи на ленивой воде
И ветер в листьях, недосыпая, лопотал.

И ему захотелось туда, в свой плен,
Где лежали, напоминая крылья орла,
Им привезенные книги, на которых «Ромэн»
Переходило, смягчаясь, в «Роллан».

●

Дом двухэтажный, крашеный в охру,
Пузатил балконы на юг и на север.
Бока омывал ему липовый шорох
И реки теней по комнатам сеял.

В каком-то когда-то, в розоватых накрапах,
В просветах сверкая от солнечной пены,
На воздух, на зелень, на запах
С балконов струились песчаные вены.

И там, где медленней лиственный шум был,
Там, где сегодня темнели обрывки, оплевки,
Ярчея в песочной своей окантовке,
Цветочные груди топорщили клумбы.

Теперь же цветник представлялся пустыней,
Прошлое напоминала ржавая лейка,
Да, с головою увязнув в жасмине,
Чугунные пятки тянула скамейка.

Весь этот остов былого величия
Он окинул рассеянным взглядом,
Пошарил в кармане, вспомнив обычай,
Кинул спичку и плюнул рядом.

Ну, место, а в доме: поющие лестницы,
Перила, кажется, дунешь — и рухнут.
Потолок, что вот — немного очнется и треснется,
И вся эта пыль, запустенье, рухлядь...

Мазня, под которой подпись: «Поленов».
Грошевые эскизы цветущих магнолий,
Уже до бесплотия протлевшие гобелены,
Обнаглевшая сырость, раздолие моли...

А сторожиха, говорящая только „aha“,
Какой-то ископаемый человеческий остов,
Старая кочерыжка лет в девяносто,
И даже не старуха, а баба-яга.

Встречаясь в двадцатом с такими углами,
Он все же не понимал, как сохранилась эта дыра.
Может, и есть обаяние в хламе,
Но подобный — как можно скорее убрать.

Подумать, и так стояло веками,
И раз, наверное, в сотый,
Вертя какой-то найденный камень,
Он погружался в расчеты.

●

Вечером солнце бессмысленно рыжее
Сочилось сквозь переплет скосившихся рам,
По полу, передвигаясь бронзовой жижей,
Как бы отмечало траэкторию всем вечерам.

Потом, уже ничего не касаясь,
Мутнело, дурманясь, за окнами в опиум
И сумерки, вдруг, до дна прокисая,
Облетали по комнате хлопьями.

И мир, из предметов составив консилиум,
Констатировал отсутствие красок, он грезил:
Залежье книг отдавало ванилью,
Пылью пахло дерево кресел.

Тогда, под мысли подставляя кулак,
Он садился понять, осмыслить потери,
Не затем, чтоб в конец убедиться, а так
Понять, чтобы хоть раз еще не поверить.

Утраты. Никогда не привыкнешь к их протеканию.
Он не мог быть без той, осознанной вдруг,
Такой интимной, связующей тканью
Между мирами: тем, что внутри и вокруг.

— Наташа, — сказал он, — мне страшно,
Ты у меня одна, как у пропасти дно.
Ну, как вот бытие твое единственное, Наташино,
Или как солнце, которое тоже одно.

Я превращаюсь в какого-то Канта в кавычках,
В непознаваемую вещь в себе, в ничто.
Да, привычка, привыкать — дурная привычка.
А я привык к тому, что мы называем мечтой.

Но он смотрел на затухающие контуры сада:
Там понемногу начиналась ночная возня,
Оттуда солодом вдруг потянула прохлада
И в комнату шпагой вонзился сквозняк.

Он вздрогнул: какая все же нелепость,
Он сам решил — да будет! — И это — закон.
Скорее ж, весеннего воздуха крепость
— В комнаты ночь и озон.

Теки, диалектика мира, теки
Во всеобщем необъятном ряду,
Места займут, так — ерунду,
Большие мои пустяки.

И с этой историей, что же,
Он бы покончить скорее,
Будь этак лет на пять моложе
Или так на пятнадцать старее.

Но что делать, если ночь наготове,
С бесконечной системой разных тревог
Примириться, но он далеко не толстовец?
Бунтовать — но против кого и чего?

И так вот, дорог не усвоив,
Он объявлял истину мира в вине,
Но в комнате их становилось вдруг вдвое
И воздух казался тяжелым вдвойне.

Он заметно пьянел, разговаривал с кем-то...
Здесь герои и страсти устроили вист.
И он получал с истории ренту
В виде безумий, дуэлей, убийств.

Впрочем, что ему за дело до всех этих гениев,
Что у него общего с бренной ордой.
— Извиняюсь, чокнемся, мастер Тургенев,
Плевать пролетариату на всех Виардо!

Пятилетки не построишь без разных капуст.
Но что при окраске оттенки в беж или сомо?
И каково назначение всех этих чувств?
Какова их удельная в целом весомость?..

Тем временем шабаш перекинулся в дом.
Где-то шел разговор: «Вы едете в Ниццу?»
Кто-то прошел, скрипя половицей,
И пол на антресолях ходил ходуном.

Но он вдруг отрезвел: — Вон! — сказал он мутящейся
прорве:
— И как ты боишься нести этот груз?
Он медленно вынул револьвер,
Добавляя: «Я тебя уничтожу, ты — трус».

И швырнув под окошко бутылочный звон,
Лег и лежал, пока шло зарождение рос,
Пока звезды на землю струили гипноз
И пока действительность оправдывал сон.

●

Затем наступило затишье, он пропадал
Целыми днями в набухнувших рощах.
И, может, он понял всю сложность тогда
Бытия, которого не выдумать проще.

Как там в «Жане Кристофе» из третьего тома
Надпись на его сегодняшней тризне:
«Он переживал дни тяжелого душевного перелома,
Самого плодотворного в своей жизни».

Что ж, мир способен на все номера.
Вперед же, в общей шеренге!

Умирать — значит жить, и «жить — значит умирать»,
Как заметил когда-то Энгельс.

Дома он что-то писал, суетился, чертил,
Барабанил пальцами по столу марши.
И как-то стало все строже и старше
Там у него взаперти.

Сердце вечно под нас совершает подкопы,
Но, подчиняясь нам вверенной власти,
Они полируют наш опыт,
Нас обменявшие страсти.

Иногда в его келью врывался закат,
Пятнал огнистыми лапами мебель,
Ляпал на стены рисунки и невпопад.
Рассказывал что-то о небе.

И он выходил на крыльцо: все та же пора.
Дымились синеватые опухоли сирени,
В апельсиновом воздухе отплясывала мошкара
И зелень пахла вареньем.

Паутина слезилась за прядью прядь
И ветер с заката, зацепив паутину,

Тянул неожиданно весь вечер вспять,
По дороге ковыляя совсем по-утиному.

На деревьях оставляя дремотную муть,
Переползали кверху смачные пятна.
И он посвистывал вслед им, словно хотел вернуть
Убегающее время обратно.

Однажды был дождь, в этой глуши,
Отдававший смородиной, лесными клопами.
Тогда он смеялся и засушил
В ладони несколько капель на память.

В его неуютные двери
Забрели: какой-то прохожий,
Какой-то мальчишка, и все же
Они не коснулись данных мистерий.

Потом он уехал. Вот все. Дополнить,
Мне кажется, нечего. Впрочем,
Я обожаю деревья с отметками молний,
Воздух которых попрежнему прочен.

Через год здесь вырос гигант, образец
Неподкупной упругости линий,

Смутно напоминая о какой-то грозе,
Как электричество о Франклине.

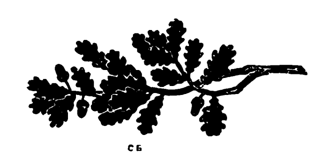
И только «тогда» начальник бригады
Не уяснил, — как паровоз перехожие калики, —
Как мог человек за четыре декады
Выстроить город на кальке.

А сам архитектор? Более уверенный, меткий,
Он входил в преддверие второй пятилетки.

●

Да, он, пожалуй, такой,
Этого мира размотанный кокон,
Который тут вот, рядом, у окон,
Потянись — и ты его достанешь рукой.

Июль 1932 г.






# НАТАШИН ОТПУСК

Я слышу в моем „я“
вечное „да“

Роллан.

Призматическая, кристальная призрачность осени.
Горизонты, от которых невольно вырывается: «Ах»!
Столько устойчивой крепости в просини
И от ветра опухоли на рукавах.

Листья, по которым безумье ступать.
Репья, цепляющиеся за каждое платье.
И опять горизонты, горизонты опять
— Горизонты, обхватившие землю в объятья.

Брусничные, клюквенные поднимающиеся тона;
Снижающиеся до цвета лимонной корки.
Откуда-то выбежавшие пригорки и — вот те на! —
Юркнувшие снова куда-то пригорки.

Просторы, раздолье, и вдруг где-нибудь на юру
Такие ловкие, рдяные, броские —
Разубранные в осеннюю мишуру,
Стоят и стоят какие-нибудь две березки.

А дали, немыслимо — дым коромыслом:
Бесконечность направо, влево, прямо...
А в воздухе! То потянет пряным-пряным
И вдруг неожиданно чем-то кислым.

●

Несносная девочка, ей все казалось — вот-вот,
И что-то она угадает в березовом лепете,
Или ее пригласят в хоровод
Облака, играющие в гуси-лебеди.

Фантазия. До свиданья, я улетаю, ловите!
Я снова насущной воздушности внемлю...
Ее поднимали, и те же самые нити,
Звеня, опускали на землю.

И она застывала мгновение. Листопад.
Ни тебе звука, оцепенение, тишь.
Ну, что ж, всюду-всюду припрятан клад —
Копай, копай, там, где ты стоишь!

Вот он, бери его! В голубых заусеницах
Мхи синели, гладкие, как от подстрижки,
И тут же, рядом, пахнувшие эссенцией,
Ржавели под елками рыжики.

Лилось золотое с цветка до цветка.
И там, где столько спустилось с берез его,
Волнушки, как девичье ухо, чуть в завитках,
Светились кусочками холода розового.

И ей мнилось: Какой хоровод изобилий,
И все пойдет прахом, в лапы зиме:
Рябина, волчьи ягоды, или —
Зачем пропадать этой вот бузине?

О, вредная: «У меня бы все было прибрано».
Ей хотелось, чтобы все ей внимало.
— Откликнись, — упрашивала каждый гриб она.
— Колосейте, колосейте, колосья — вас мало!

А этот картофель с ядрами ягод.
Как его плутни, как они велики?
«Копи, копи, маленький скряга,
Я вытащу твои подземные кулаки!»

Упрямица, она не хотела сдаваться.
Она все гнала, отдаляла, что толку:
Неугомонные мысли, раз двадцать
Они возвращались к истоку.

Что вот сведены неизбежные счеты...
Она обманулась, да, обманулась. Увы,
Неуловимых разубеждений вибрирующие пустоты,
Я их познала, я доверялась, ошиблась, — а вы?

Она его любила? Быть может. Но что с ней?
Чем бы он был: семьянином, попутчиком, мужем,
Кругом, что день ото дня все несносней
И с каждым мгновением ýже.

Инструмент, воспринимающий все на один и тот же
мотив
(О, насколько голосов поет мирозданье!)
Итак, аномалия, испытанная в пути,
Гудению крови минутная дань ее.

«И все же, как же могла я, как прочно
Утверждает свою необходимость случайное.
Неужели же это я все нарочно,
Впрочем, хуже — я поступала нечаянно».

Она шла, бесшумно вилась павилика
Ее сожалений. Но она, как сгущение света,
Вся — излучение, вся от загара в коричневых бликах,
Казалась видением лета.

Кузнечики еще затевали оркестр.
И направо — пшеничные, налево — ржаные,
Ярчея от последней уже рыжины,
Поля, перемежаясь, бежали окрест.

И эдакие сквозные, вощаные, ломкие,
Фоном к ее ускользающему рисунку,
Овсы на розовеющей снизу соломке
Перед нею стояли в струнку.

И она решала, что уже отшумела
В ней непогода, что она — у природы в гостях,
Что она — комсомолка, что личное — мелочь
И в общем контексте — пустяк.

Пустяк. Но я, и все остальное, мы связаны в узел.
Блюди, мое неусыпное рвенье,
В нашем священном союзе
Не место хоть чуть подозрительным звеньям.

Нет, она не доверится льющимся водам,
Бестолковым течениям подпочвенных мает.
И уже у дома подумала мимоходом:
— Зачем мне звено, которое разъединяет?

Дом! Он оставался без всяких последствий
И на нее опять говорливо, нескромно;
Волнением ассоциаций, затерянных в детстве,
Пахнуло безмолвие комнат.

Чудесные комнаты: все те же, косые,
От жары разжиревшие, сытые щели;
В которых потьма, тараканьи усы
И родимые пятнышки словно на теле.

И тетя, ни с чем несравнимая тетя!
Однообразная, как присказка про бычка,
Ветхая — рассыплется, если толкнете,
И бестолковая, как гоголевская Коробочка.

Они пили чай, перебрали по кругу
Самоварных урчаний водяные рулады.
Не сказали ни слова, и все же были друг другу
Каждая по своему рады.

Но даже молчание их исчерпало до дна.
Тетка ушла и, погружаясь в свое,
Наташа с посудой осталась вдвоем
И сама с собою одна.

А день все цвел. Он брел перелесками,
Полями, лесными лужайками тек он,
Опавшими листьями, переминясь, потрескивал
У еще незапахнутых окон.

И вдруг наступила реакция: вразбивку, в распад,
Задымились кустарники, на сотни наречий
Ахнул по всем направлениям листопад,
И валерьяновкой в комнаты двинулся вечер.

И стало так рядом, от смутного чувства,
От закатной огромности, суженной в клинушек,
От капельных воспоминаний, соснового хруста
До слез, внезапно хлынувших.

«О, что угодно, но плыть по течению — я эту миссию
Оставляю вне времени, как неживую,
Как это сказано, я чувствую... Я мыслю...
Нет, я противостою, следовательно, существую!»

И она записала: «Сегодняшний день, во мне он, как снимок
О перейденном остался. Кажется малость:
Я все же устала. И все-таки необъяснимо.
Все во мне что-то струилось, струилось-переливалось».

А ночью все горизонт, то уходящий, то встречный,
Ей снился все снова и снова.
Ах, эти сны! Приснится сама бесконечность,
А проснешься — и весь сон на щеке нарисован.

Но, проснувшись, она все забыла: там, далеко,
Синели долины, леса тая,
И была, от проплывающих облаков,
Погода до невозможности полосатая.

А под окошком — подсолнухи — целая рать.
Согнулись наподобие душей. Сюда,
Только под эти головы встать,
И застрекочет на вас золотая вода.

Ей не сиделось. Она уходила. Сады
Стояли утренние, гулкие, ранние.
И шлейфом за ней протекало шуршание
И осень ее на все обступала лады.

Снежинки пушинок, репетирующие зиму;
Сосновые корневища, что-то держащие в лапах,
Словно боящиеся, что у них отнимут
Их сосновый запах.

Бересклеты в розоватых сережках,
Тех, что с глазком на тонюсенькой нитке.
И эти, у которых зренье на ножке,
Ползущие вечно куда-то улитки.

Она им свистела, казалась беспечной,
Такой безмятежной снаружи,
И ей все сдавалось: «Что бы там ни было, вечно,
Самообладание — наше оружие.

Нужно быть всюду на месте: да, да,
Постоянной, как хижина дяди Тома,
Или, как вот улитки, которые всегда,
И даже путешествуя, дома».

И ей улыбались: погода, вкусная, лакомая;
Сафьяновые листья, слетевшие спаиньки;
Мухоморы, большие, махровые, лаковые,
И маленькие, похожие на ваньки-встаньки.

И важные-важные. О, сколько спеси!
И она грибу в подбородок губчатый
Тыкала палкой: «Вот же, не смейся,
Не рыпайся, мой драгоценный голубчик!»

И снова шутила, шалила, и вдруг, затая
Про себя какое-то ускользающее движенье,
Спохватывалась: Что я такое? Кто я?
В чем мое основное решенье?

Ей припомнилась гончаровская Вера в «Обрыве»;
Она ей казалась далекой, чуждой, но все же
В другой обстановке, спокойнее, терпеливей,
Какой-то мелочью схожей.

Но здесь неожиданно находила предел она:
«Мне труднее в моем неоконченном споре.
Я — путешествие, которое еще не проделано,
Я — это те, что еще не имеют истории».

Так она забывалась, скользя в глубину.
А осень трещала запальчивей.
И ветер, травинку за травинкой загнув,
Высчитывал время по пальчикам.

Дома она распечатала письма:
Мама ее упрекала жалея,
Немного сердилась, но от всего независимо,
Просила одеваться теплее.

Другое было от Павла: конечно,
Он не сомневался, что она симулирует, шутит,
Но что его смущает такая беспечность,
Этакий нонсенс, доверье минуте.

Что ее увлечения нужно отбросить,
Он сам отдал им должное, но все это — бредни,
Что жизнь — не игрушки, и в подобном вопросе
Самая верная ставка — на среднее.

Что, наконец, он положительно сходит с ума,
Что ему тяжело, мучительно, больно.
Он уверен, она пожалеет сама...
Но она уже не читала. Довольно!

Что стоит вся эта бестолочь вкупе?
Где ты, меня обманувшая толика?
Нет, нет, она ни за что не уступит:
«Я ему принадлежала, и — только!»

Замужество? О, никаких представлений, тем паче,
Тем легче разрубается Гордиев узел.
Раз я их утратила, значит...
Значит, это были иллюзии.

●

Следующие дни еще удержали свой тонус.
В них лето, но чуть-чуть убывая, текло,
Испариной дымились их золотые затоны
И в полдень еще ворковало тепло.

Еще проносили спутанные мира
Какие-то мошки, оттаяв от сна.
И все краснели деревья, словно им умирать
Было так рано совестно.

Но она очутилась где-то за абсолютной шкалой.
Там замкнут был мир ее, глухо и плотно,
И только время в ней неприметно ткало
Бытия золотеющие полотна.

Ей казались сквозь дымку, в каком-то таком
Отдалении, тускнели, в памяти выцвев,
Знакомые образы, ячейка, фабком,
Рисунки, что она чертила для ситцев.

В окна, с полей, из-под рыжих подпалин
Веяло на нее безысходное, что-то такое,
И облака не то шли, не то спали,
Словно над вечным покоем.

И осень подбиралась по-звериному, сбоку.
Уже худосочие, изморозь, хворость
С пяти принимали леса под опеку
И вечером в печках потрескивал хворост.

Он все подпевал, другим ли, себе ли,
Шаркал по комнате золотые очки
И все надрывались, ныли, сипели
И розовые слюни пускали сучки.

После играли друг с другом в жмурки,
Одноглазые искры становились сонливей,
И даже, не скинув тужурки,
Она засыпала под ливень.

●

Отпуск кончался. Нужно на завтра
Было подумать о сборах, и поневоле,
Наскоро пробежавши утренний завтрак,
Она погрузилась в течение их меланхолий.

Весь день моросило. Продрогнувшие осины
В стеклах темнели пустынней и резче.
На что-то жалуясь, поскрипывали корзины
И все попадались не те, все путались вещи.

Отзвук воспоминаний, он в ней уже зажил,
Но все ей казались пустыми, пустыми:
Простыней сверкающие пустыни,
Ночных сорочек зимние пейзажи.

И вдруг между ними несколько писем.
Она их, увы, не читала, им миновали все сроки.
Но теперь все ее чаянья вдруг отдались им
И на нее залежалостью хлынули строки:

«Наташа, ты не отвечаешь мне больше, пусть так.
И все же я бытие твое призываю и чту.
Веди, куда хочешь, этот пустяк,
Я один из него созидаю мечту.

Прощай. Я остаюсь при том же—Quand même.
— Желать — значит брать, я — с теми,
Кто исповедует «да», и если будет здесь темень,
Я стану совой, чтобы видеть во тьме».

Ее смущал этот мятущийся дух,
Эта большая, угрюмая мания.
И какой-то образ, в ней вспыхнув, потух,
Унося мгновенное обаяние.

«Да, и это — уж прошлое! Все-таки жаль.
Со мною выходит что-то вроде
Того, что сказал про себя Лассаль:
Я ни к кому, и никто ко мне не подходит.

О, разрозненных душ блуждающие огни!
Сколько я знаю одиноких прелюдий.
Неужели и я такие же, как они,
Неужели и у меня ничего не будет?

Приди же, неясная, и все же звучащая у виска,
Музыка двух отдаленнейших рифм,
Как же, как мне тебя отыскать,
Где ты, мне отвечающий логарифм?

Она отбросила письма. Смеркалось.
Реальность застыла, придвинулась к сумеркам.
И закатные отсветы, перемогая усталость,
Клубились по комнате суриком.

И ей стало пустынно от зияющих окон,
Голос одиночества, он пел ей, он влек ее,
Он все уговаривал, он даже трогал ее локон,
Унося в свое бесконечно далекое.

И все вдруг обрушилось, какая-то усталь
Ею овладела. Так вечно. Мужайтесь.
Чем дольше мы не вверяемся чувству,
Тем злей его освежающий натиск.

Ликуй же, соленая дань поколений!
О чем эти слезы, о ком это?
О, дождь огорчений, падающий на колени!
О, подожди, сжалься, всеравнодушная комната!

Напрасно! Несносные капли, казалось,
Искали чего-то и не находили искомое.
Как ливень, за полночь ударивший в заросль,
Как в бурю ослепшие насекомые.

Она смутилась: откуда забили
Все эти слезы? О, роковое неведенье!
Но их вдруг покатилось такое обилие,
Что она догадалась: «Последние!.

Пусть их! Все лучше — чем ни то и ни се.
Уж так я устроена, я довольна, рада,
Что все уже кончено, ибо мне надо все, все,
Или совсем ничего не надо.

Где-то существует мне нужное и я отыщу еще,
Она закаляет, ведущая идея, нас
Я б не искала несуществующее.
Я бы не плакала, если бы не надеялась!

Истина с нами. Отсюда, из темна,
Я вижу вечно открытую дверь ее.
Доверие к жизни, вот моя истина.
Истина — прежде всего, доверие.

Есть сладость движенья ощупью, в темноте.
Я обманулась, но если бы... О, я б все повторила
наново.
Я знаю, я так говорю затем,
Что не хочу больше себя обманывать».

И ей припомнились, стали роднее вдвойне:
Работа, цехов гудящие просеки.
И она прошептала: «Вы здесь, во мне.
Я к вам иду, мои золотые колесики».

К ней вернулась ее ведущая толика.
И она отдалась ее власти.
И заснула, счастливая, но еще не настолько,
Чтобы больше не верить в счастье.
Мир спал, над кровлей струился эфир его.
И млечный путь, меняющийся и неизменный, —
Он надо всею громадиной фосфорировал.
Водяной позвоночник вселенной...

●

А утром под окошком болтала сорока.
Розовели в тающем воздухе пашни.

И она пробудилась чуть потрясенной вчерашним.
Слегка повзрослевшей до срока.

Но зеркало ничем не напоминало ей о ненастьи. —
Глаза все такие же быстрые, блеские,—
Бездны, которые проходят страсти,
Оставляют на лице ничтожнейшие бороздки.

И когда она вышла, румянцем
В ней яблочный холод заплавал,
И верст девятнадцать до станции
Ей показались забавой.

Ах, эти версты, замешанные на мазуте;
Хлебные скирды, раздувшиеся, натужась;
Бензиновые запахи тракторных перепутий
Новостроек отроческая неуклюжесть.

Они ей встречались в этой тиши,
И она думала — то дух наш, то — мы,
То — слепок, рисунок нашей души,
Разложенной нами на атомы.

В ней классовость опять торила дорогу,
И она ощутила, как выросла, поднялась

Со всеми идущими рядом, в ногу,
Ее сдуманность, подлинность, связь!

«Я — целое, я — продолжена, я не кончаюсь здесь,
За платьем. Я — всюду, с вами, ваша...
Я — это мир, я — это все, что есть,
И вы — это тоже я, Наташа!

Все во мне умерло и все отродилось. Вперед!
О, эти возвращающиеся пассаты эмоций!
О, мальстрем, увлеченный, он дышит, он льется,
Он мной обладает, всепостигающий водоворот.

Так вечно же в спокойствии и грозе,
До часа последнего самого.
Глубже, глубже, черти, резец
Восходящего бытия моего!

Она проходила огромный ротфронт,
Огнистыми листьями катил по лесам раскат.
И в плодоносных объятиях сжимал горизонт
Пространства, синеющие от заморозка.

Старик Левитан! Червонной рудой
С морозом воздуха пьяного

Струился с деревьев сентябрьский удой,
Облетало добро левитаново.

А вечером ветер завыл, загундосил,
Из игол сосновых наделал свистулек.
Он поднял все листья и бросил
В лицо ей. Он гнул ее, низил, сутулил.

Он ей на плечи обрушивал ярость.
Налетал на нее неожиданно с тыла.
Но она с ним разговаривала, шутила,
Шла ему супротив, не поддавалась:

«Бушуй, властвуй над каждою щепкою,
Ты меня не сдвинешь даже на энную
Я воспитана бурей, я — крепкая,
Я вызываю на поединок вселенную!».

Сентябрь 1932 г.



# Содержание




*Ответ редактор Э. Багрицкий* *Техредактор Н. Греймер*
*Уполн. Главлита В—34987 Тираж 3250 З 303 С Х. 71. Сдано в произв 8/II*
*Подписано к печати 13/V 33 г. Колич листов 5½ Бумага 72×108 с/м 1/32*
*„Интернациональная“ (39-я) тип Мосполиграфа, ул. Скворцова-Степанова, 3*

СКЛАД ИЗДАНИЙ
ЛИТХУДСЕКТОР КОГИЗА

Цена 2 руб. 50 коп.